

В декабре 2018 года исполнилось 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына, одного из самых противоречивых советских и русских писателей. В свое время его работы не оставляли никого равнодушным и вызвали пламенные споры, переходящие в пожар конфликтов и нередко заканчивающиеся пепелищем взаимоотношений. Сейчас, по прошествии многих лет, жар этих дебатов немного спал, но негаснущим огнем продолжают светить нам размышления творца. Вглядываясь в это мерцание сегодня, попытаемся еще раз понять его этапное произведение.

Вспоминаю, как при первом прочтении «Архипелага ГУЛАГа» (далее – АГ), в начале книги меня не покидало ощущение, что это произведение – месть пострадавшего человека по отношению ко всему, изуродовавшему его жизнь. И пришлось немало потерпеть, чтобы, дочитав примерно до 150-й страницы, дожждаться того, что делало это произведение по-настоящему интересным: страх человека перед осознанием того, что сложись жизнь иначе, и ему выпал бы жребий стать не жертвой, а палачом; и вопрос, нашел бы он в себе, еще довольно молодом парне, силы отказаться от этого предложения судьбы или нет. Многие же не осиливают этот ров во вступлении, забрасывают чтение и остаются с ошибочно упрощенным восприятием этой книги. И в самом деле, АГ изобилует фрагментами с подозрительно удобными для автора примерами, из-за чего не обладающие положительной предубежденностью читатели, начинают относиться к книге очень критично и видят в ней прежде всего жажду мщения. Многие мои знакомые как раз так и считали. Может, это и неконструктивный *ad hominem* по отношению к автору, но не сам ли он виноват?

Впрочем, это скорее отличительная черта новых поколений: недоверчивость и критическое восприятие, причем вне зависимости от интеллектуального и образовательного уровня (естественно, разговор о средних значениях). Вспоминается, как в фильме «Председатель» па-

сынوك главного героя – очень умный подросток, создающий будущую планировку деревни, изучающий коринфские, дорические и ионические колонны, – с удивлением обращается к матери: «Мам, а разве в газетах пишут неправду?» Такая наивность вызывает улыбку. А сейчас даже самый обычный подросток знает, что могут врать и газеты, и книги, и телевидение и прочие источники информации. Да, современный подросток будет ошибаться в определении, где правда, а где ложь, но вероятность этой ошибки не вызовет у него такое изумление. Может, отсюда и иное восприятие у людей, читающих АГ сейчас, в отличие от тех, кто это делал лет тридцать назад. Сейчас – много сомнения, недоверия и ощущения, что в этом произведении хватает лжи.

Тем более, скептицизм усиливается, когда понимаешь, что служит мотивом для нескончаемых передегиваний. Многие люди, по отношению к которым История, персонифицированная в лицах высоко и низко стоящих исполнителей, была полностью несправедлива или несправедлива в степени наказания (привет нелепому Глебу Жеглову!), не могут простить ей этого до конца жизни. Да и после жизни. Мы продолжаем жить в наших родных, близких, коллегах, и они подхватят эту эстафетную палочку «не забудем, не простим». Мертвые беззащитны? – едва ли: чаще всего найдутся те, кто за них заступится. Поэтому сложно не видеть необъективность отдельных людей по отношению к сталинскому правлению. Очевидно, что Николаем Сванидзе движет не столько борьба за правду, сколько месть за безвинно (как ему видится) пострадавших предков. А деятельность «Огонька», начиная с середины 1980-х, подмывает рассматривать сквозь призму запоздалого мщения за его легендарного редактора Николая Кольцова. Конечно, столь нарочитый переход на личности априорно указывает на низкую культуру ведения спора. Но как не скатиться к нижним ступеням пирамиды Грэма, когда подтасовки, подгонки, а порой и откровенные фальсификации так явно бросаются в глаза?

Впрочем, именно вранья в АГ не так много, как это пытаются представить противники этой книги. Солженицын действует немного тоньше, и этого хватает, чтобы уложить на лопатки подавляющее большинство своих оппонентов. Александром Исаевичем движет в том числе и месть, но не только; он действительно и мыслитель, и писатель, и ангел, и общественная фигура (при написании АГ он уже мог предвидеть, что ей станет). И эта многогранность автора позволяет ему успешно решать многие задачи, в том числе удовлетворять автоангажированность. Конечно, при ближайшем рассмотрении становится очевидным, что главным механизмом выступает тенденциозность, но у Солженицына она очень сбалансирована, а когда нужно просто отходит в сторону – благо перед нами все-таки художественное полотно. Эта расчетливость не могла ранить некоторых соратников Солженицына по общему горю и делу, из-за чего он со многими перессорился, но к этому мы еще вернемся.

Так в чем выражена тенденциозность Солженицына? На самом деле было бы ошибочно приписать все привычной генерализации частных случаев, когда условно из десяти примеров выбирается лишь один случай, еще два упоминаются вскользь, а оставшиеся, не очень подходящие, просто игнорируются. Надо еще учитывать, что эта выборка изначально не обладает репрезентативностью, потому что предоставляется людьми, которым не до объективности – им бы душу излить (многие обвиняли Солженицына, что он доводил людей, передающих

ему информацию, до истерик и даже смертей; но он борец, и лагерная тема для него – поле борьбы). Очевидно: перед нами систематическая ошибка индуктивного мышления. Но вправе ли мы быть так строги к автору за это?

Еще одним пластом предвзятости подтверждения (англ. confirmation bias) являются передергивания и будто бы случайные ошибки. Их довольно много (особенно числа пострадавших автор ловко множит), но здесь приведем только две. Первая касается демографии. Приводя те или иные числа жертв репрессий, Солженицын нередко добавляет о том, что именно это привело к серьезному демографическому упадку. Логично, что это должно было бы быть выражено в падении объективных показателей, например, в ежегодном приросте населения в процентах. И что мы видим? По данным переписи населения, проведенной в январе 1959 года, численность населения СССР составила почти 209 миллионов. К концу же 1913 года в тех же границах проживало около 159 миллионов. Итого: в период с 1914 по 1958 год ежегодный прирост населения – 0,6 %. А что же другие крупные страны, на себе почувствовавшие ужасы мировых войн? У Англии – 0,46 %, а у Франции и Германии – по 0,41 %. О чем это говорит? Нет, не о том, что Солженицын врет, а о том, что он приводит лишь выигрышную для него статистику, да еще и интерпретирует ее так, как ему выгодно. Более конструктивная дискуссия должна происходить следующим образом.

– Да, ежегодный прирост у нас был выше, чем у западных держав, но ведь мог быть еще выше: не зря же Менделеев, увлекавшийся на досуге вопросами прироста населения, в начале XX века посчитал, что к 2050 году численность населения Российской империи должна составить 800 миллионов. Но такой она не будет, и в том числе из-за сталинских репрессий.

– Виноваты не только и не столько сталинские перегибы, но и другие причины (конец Российской империи, войны, перестройка, развал СССР). К тому же: ну и зачем нам такое огромное население? Были бы Северной Индией, только еще более бедной.

То есть вопрос демографии в итоге должен переходить в вечный спор между К-стратегией размножения и R-стратегией. В рамках К-стратегии задача общества (стаи, своры, группы) добиться высокой вероятности выживания немногочисленных потомков (берем качеством); в рамках R-стратегии задача, чтобы потомков было много, а вот выживание каждого в отдельности непринципиально (берем количеством). Для биологов это интересный тип задач. Для гуманистов такая постановка вопроса является кощунственной. Хочется искать объяснение рассуждениям Солженицына о демографии в его гуманистических чертах характера, но это будет лукавством. Нет, тут он просто использует ловкий маневр.

Но если в случае с демографией мы имеем место с выгодной интерпретацией, то в случае с анализом появления концентрационных лагерей (как и самого слова) – с подтасовкой, напрямую граничащей с ложью.

А 5 сентября 1918, дней через десять после этой телеграммы, был издан Декрет СНК о Красном Терроре, подписанный Петровским, Курским и В. Бонч-Бруевичем. Кроме указаний о массовых расстрелах в нём, в частности, говорилось: «обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в *концентрационных лагерях*».

Так вот где – в письме Ленина, а затем в декрете Совнаркома – был найден и тотчас подхвачен и утверждён этот термин – концентрационные лагеря – один из главных терминов Двадцатого века, которому предстояло широкое международное будущее! И вот когда – в августе и сентябре 1918 года. Само-то слово уже употреблялось в 1-ю мировую войну, но по отношению к военнопленным, к нежелательным иностранцам. Здесь оно впервые применено к гражданам собственной страны. Перенос значения понятен: концентрационный лагерь для пленных не есть тюрьма, а необходимое предупредительное сосредоточение их. Так и для сомнительных соотечественников предлагались теперь внесудебные предупредительные сосредоточения. Энергичному ленинскому уму, увидев мысленно колючую проволоку вокруг неосуждённых, сподручно было найти и нужное слово – концентрационные!

Очевидно, что в сознании людей концлагерь – это про фашистов. Поэтому довольно-таки сильным ходом будет взять да и назвать основателями этой практики большевиков. Однако, значительно раньше нечто похожее на концлагери, появившиеся у нас в 1918 году, появилось во времена Гражданской войны в США. В штате Джорджия в 1864 году южанами был создан лагерь для военнопленных под названием Андерсонвилль, действовавший до мая 1865 года. За все время существования лагеря в нем побывало около 45 тысяч человек. Из-за постоянной переполненности некоторые заключенные спали на земле вне зависимости от погоды. Уровень антисанитарии был запредельный: территория кишела крысами и тараканами. Доля погибших в лагере шокирует: больше четверти (свыше 13 тысяч человек). Фотография одного из узников лагеря напоминает изображения мучеников нацистских лагерей. Может, это все злодеи-южане? Отнюдь: у северян были свои лагеря, где люди гибли как мухи.

Таким образом, «новый» метод борьбы, который применяли большевики по отношению к классовым врагам, применялся в Америке за полвека до этого. Аналогия, причем практически полная, если бы не термин, которым это явление обозначено.

То, что словосочетание «концентрационный лагерь» было до большевиков, Солженицын не отрицает, правда, вновь ошибается. Испанские *campos de concentraci6n* появились еще во время войны за независимость Кубы (1895): туда испанцы интернировали мирное население. Немного позже термин *concentration camp* более широко применялся в ходе Второй Англо-бурской войны (1899–1902). Впоследствии этот термин стали применять все чаще, и то, что его решили использовать в своем декрете коммунисты, является просто данью интернациональному военному языку.

Солженицын же хватается за это стечение обстоятельств и выводит из него формулу, хотя очевидно, что ретронимично термин «концентрационный лагерь» можно использовать по отношению ко многим событиям истории. Что мешает лагеря, которые создавали американцы для чероки и навахо назвать концентрационными? Пожалуй, составителю словаря придется сильно постараться, чтобы большевистские и нацистские лагеря назвать концлагерьями, а американские для индейцев – нет.

Но при желании можно сказать, что Солженицын не соврал, а просто запутался. Важно, что он добился своей пропагандистской цели.

Да, Александр Исаевич часто изобретательно хитрит, и многих его оппонентов или даже нейтральных читателей, подмывает разгадывать эти трюки. Но должны ли мы быть столь строги к человеку, так сильно

пострадавшему от режима? Не должны ли мы проявить сочувствие к нему и простить столь страстное желание представить репрессии в еще более страшном виде, чем они были в действительности? Может быть, правильнее воспринимать весь АГ несколько иначе?

Одним из способов прочтения АГ является следующий. Не надо упрекать автора в мести режиму и Истории, надо просто принять автора-летописца в качестве метагероя своего произведения. Иными словами, необходимо вмонтировать биографию Солженицына в действие АГ тем или иным способом. Один вариант: всю биографию разместить, как первую главу АГ. Второй: кусочек разместить в начале, а другие кусочки перед подходящими фрагментами. Третий: распылить биографию совершенно случайно, чтобы важен был сам дух судьбы писателя, а не триггеры-события. Подобная трансформация произведения не лишит его наиболее пробивных и значимых событий, но в то же время: а) избавит книгу от излишних политических и исторических провокаций; б) добавит произведению объемного несдающегося главного героя.

После этой переделки роман начинает восприниматься несколько иначе, но полнее. Необязательно переводить АГ в произведение от третьего лица (хотя можно), важно, что на ментальном уровне отдельные его части мы будем считать именно так.

Итак, жил-был писатель, который в свои ранние годы несправедливо пострадал от своего государства. Однако он смог это пережить и решил написать про все те лишения и страдания, которые ему довелось испытать. Причем своего личного опыта ему казалось недостаточно, и он начал собирать материал у других людей. Сложно понять, когда этот писатель честен, рассказывая о репрессивной системе своего государства, а когда старается представить все в более страшном виде. Он старается охватить все темы, связанные с тюремной жизнью: исторические, бытовые, философские, экономические и прочие. Он писал про то, как много времени есть в лагере, чтобы подумать обо всем. Он писал про то, почему так редко были в лагерях побеги и редко ли. Он писал о бандитах. О восстаниях. О том, во всем ли виноват вождь. О любви. О холоде. О голоде. О добре и зле. Многие были ему благодарны за то, что он открыл глаза обществу, другие, наоборот, проклинали, что вскрыл так тяжело заживающие раны. В какой-то момент писатель устал от этой темы, но и соратники, и обыватели не давали ему ее оставить. Живя в другой стране, писатель уже нескрывая стал утопать в ненависти по отношению к своему прежнему государству. Должно ли это указывать, что прежний разоблачительный труд нес на себе обильную порцию клеветы? Вопрос. Потом его государство рухнуло, и он вернулся на родную землю. Однако он не переставал бороться. Он находил новые поводы для схваток, теперь уже раздражая прежних союзников.

Данный угол зрения дает более объемный взгляд на это произведение, и несколько извиняет Александра Исаевича за постоянные передегеривания. Важно помнить, что герой Солженицына не просто оказался невинно осужденным, но это еще и произошло в страшный момент истории нашего государства, когда колеса тюремно-лагерной машины набрали пугающий ход. Впрочем, это применимо для всех героев АГ. Абсолютно всех: и таких же, как сам писатель, политзаключенных, и прочих заключенных (включая воров), тюремщиков, следователей, оставшихся на воле обывателей, чиновников, высшее партийное руководство.

Репрессии 30–40-х годов стали логическим продолжением затянувшейся борьбы за власть в предшествующую эпоху, которая несла на себе энергию тотального взаимного недоверия. Причиной этих настроений в обществе была сильная перезрелость революции (или каскада революций: здесь не важно. – *А. Р.*). Путь к новому социально-политическому устройству был очень долг и тернист. Естественно, неправильно начинать отчет ни с декабристов, ни даже с петрашевцев. Конечно, они были носителями идей переустройства общества на иной лад, но так можно и до Пугачева, и до Разина, и до оппонентов царя Гороха дойти. Скорее всего, исток того, что в итоге привело к падению царизма, надо видеть в проникновении европейских настроений после «Весны народов» 1848–1849 года. Оформляясь эти брожения во что-то серьезное стали после понимания провала и лицемерия крестьянской реформы и стали активной силой в конце 1860-х – начале 1870-х годов, как раз в тот момент, когда персонажи «Бесов», читавшие Фурье и Прудона и вечно повторяющие словосочетание «общее дело», вышли из матрицы и перестали быть нелепыми прозаседавшимися. Вот тогда и началось. Парадоксально, но убийство императора Александра II стало камнем преткновения на пути к свержению монархии, по причине не только реакционных настроений масс, но и недостатка сил у самих народников. В историографии принято разделять революционный генезис в России конца XIX века на этапы народнический и пролетарский (марксистский), но очень похоже, что эта условность досталась нам в наследство от советской пропаганды. Многие народнические организации постепенно перенимали некоторые идеи Маркса и Энгельса, и нельзя сказать, что в какой-то конкретный момент произошел резкий переворот в их идеологии. Неудачное покушение на Александра III в 1887 году должно было привести к прекращению реакции и стать глотком свежего воздуха для «свободолюбивой России», однако привело к обратному – казням Александра Ульянова с товарищами. Катастрофа с императорским поездом, произошедшая через год, многим современным историкам тоже представляется терактом, о котором спецслужбы предпочли умолчать, дабы не выросла вера в себя у народников. Революционное движение в России ненадолго затухло, чтобы разгореться вновь на стыке веков. Однако, как мы знаем, и после этого общество ждало много сезонов этой нескончаемой революционной «Санта-Барбары». Многие мятежные деятели уставали и переходили в разряд теоретиков и зрителей. Шутка ли: Ленин в начале своей эмиграции 1908–1917 годов был уверен, что совсем скоро бурная волна сметет царизм, а уже в «Докладе о революции 1905 года» за 1917 год писал: «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции. Но я могу, думаю, выразить мне, высказать с большой уверенностью надежду, что молодежь <...> будет иметь счастье не только бороться, но и победить в грядущей пролетарской революции». Замечательно комментирует это Лев Данилкин: «Ничего подобного, что характерно, Ленин раньше не говорил, так что, не слишком рискуя подставиться под обвинение в благоразии, можно предположить, что именно в Цюрихе 46-летний “Старик” максимально приблизился к отчаянию: похоже, он окончательно превратится в библиотечного городского сумасшедшего, помешанного на том, чтобы достать еще и еще и еще и еще одну книгу». Последовавшие Февральская и Октябрьская революции, а затем и Гражданская война были для людей большой жратвой перебродивших перезрелых плодов долгих десятилетий революционного созревания.

И требовать от общества, чтобы оно быстро после этого протрезвело, — наивно.

И все эти годы пути были усыпаны таким большим количеством неудач и предательств, что началась игра на удержание успеха. Общество и новая власть плохо отдавали себе отчет, в чем должно это удержание выражаться, пытаясь направить эту активность в какие-то высокие идеи, но получалось плохо. Возможно, окажись у власти другие люди, они смогли бы что-то придумать с этим сгустком хаотичной энергии, но откуда такие люди могли ли взяться в тот исторический момент? В итоге к полной власти пришел Сталин, который в отличие от безвылазно сидящих за границей Ленина, Троцкого и Зиновьева, все время был в Российской империи и пропустил через себя все «прелести» становления новой власти в стране. В то же время, если говорить по-житейски: это честно.

Однако эта историческая справедливость по отношению к одному человеку привела к тому, что именно он стал персонификацией всей той накопленной за многие годы социальной энергии. Иногда Сталину удавалось направить эту суперсилу на благо, но иногда его перехлестывало. Еще одной проблемой было то, что население страны в 1913 году и уже через двадцать лет отличались друг от друга так сильно, что все те идеи прежних идеологов революции оказались во многом непригодны, и писать новый план приходилось на коленке.

Мы хвалим руководителей раннего СССР за искоренение безграмотности, забывая о том, что это был общемировой тренд, и многие развитые и развивающиеся крупные страны, отставшие по уровню грамотности населения в предшествующие 50–100 лет, устранили этот пробел в первой половине XX века. Скорее всего, при любом новом политическом устройстве государства произошел бы заметный скачок грамотности. Другой важный момент, что мы не понимаем, с какой дикой скоростью происходил этот процесс, на который у других стран уходило намного больше времени. Параллельно с этим аврально и неадекватно быстро отстраивались социальные лифты, которые в нормальных эволюционных условиях тоже требуют многих наладок и корректировок. Новые возможности давали людям колоссальный социальный капитал, переварить который должным образом в столь сжатые сроки общество было объективно не готово. И как предосудительно вели себя некоторые «новые русские», на которых в 90-е годы свалились неожиданные богатства, так и многие «советские грамотные граждане» 20–30-х пошли по головам ближних своих, не брезгуя использовать смертельную сабачью грязь во власти себе на благо.

Таким образом, совокупность этих двух спрессованных временем факторов — запоздалая революция и новый социальный капитал для основных слоев населения — во многом предопределила те общественные и политические потрясения, которые и привели к возникновению Архипелага ГУЛАГа. В реальной жизни было так много сумбура, что попытка увидеть в этом конфликт гуманизма и государственности, что нередко мелькает в произведении Солженицына, несколько тенденциозна.

Давайте обратимся к истории. В первом послании Ивана Грозного Андрею Курбскому есть странный для современного человека посыл: «Если же ты, по твоим словам, праведен и благочестив, то почему же испугался безвинно погибнуть, ибо это не смерть, а воздаяние?» И еще чуть ниже: «Если же ты убоялся смертного приговора по навету, поверив злодейской лжи твоих друзей, слуг сатаны, то это и есть явный ваш

изменнический умысел, как это бывало в прошлом, так и есть ныне». Царь более чем допускает, что Курбский либо не виноват, либо виноват не так сильно, но считает, что ради более высоких целей он должен был бы смириться с несправедливостью и отдать жизнь за царя. Иван Грозный объясняет, что, во-первых, вся власть от Бога, во-вторых, своим поведением Курбский предал души своих праведно служивших предков, в-третьих, так как царь – самодержец земли русской, то ему позволено совершать ошибки, похожие на произвол. Несмотря на то что в этой переписке много переходов на взаимные житейские претензии, в ней видна квинтэссенция противостояния гуманистического и государственного. Это благодаря тому, что, несмотря на проступающую деменцию у царя, очевидны «за», «против», «зачем» обеих сторон.

Во времена же, которые описывает Солженицын, никакого простого рассмотрения конфликта личного и общественного быть не может. В тот момент у этого вопроса так много подводных течений, что АГ – не про это. Да Александр Исаевич это прекрасно понимает! А вот его интерпретаторы – нет.

Вообще и автор, и его герой очень пытливы в поиске того, что привело к сталинским репрессиям. Одно из предположений, что за всем стоит идеология.

Идеология! – это она дает искомое оправдание злодейству и нужную долгую твердость злодею. Та общественная теория, которая помогает ему перед собой и перед другими обелять свои поступки, и слышать не укоры, не проклятья, а хвалы и почет. Так инквизиторы укрепляли себя христианством, завоеватели возвеличением родины, колонизаторы – цивилизацией, нацисты – расой, якобинцы (ранние и поздние) – равенством, братством, счастьем будущих поколений.

Благодаря Идеологии досталось XX веку испытать злодейство миллионное.

Но обвинения в адрес идеологии, несмотря на колоссальный объем произведения, выглядят крайне поверхностными. Автор не поясняет, когда в обществе есть идеология, а когда нет. Например, была ли идеология в США на протяжении всей их истории? А у Российской империи? Солженицын не пытается проанализировать случаи, когда огромные человеческие жертвы никак не были связаны с идеологией. Разве идеологические мотивы были предопределяющими для Первой мировой войны? А при освоении Нового Света? Проблема не в том, что автор ошибается, а в том, что его мысли крайне сумбурны. Очень сложно взять его соображения и применить к конкретным примерам. Гражданская война в США – это идеология или что-то другое? Пытаясь мыслить, как автор АГ, начинаешь запинаться.

Впрочем, нет. О том, что важной причиной перегибов сталинской пенитенциарной системы является идеология, говорит не просто вздесущий автор, а как раз автор-герой. Необходимо надеть нашу шапочку-смекалочку и вновь вспомнить, через что прошел Солженицын. Он ищет, что привело к этому и кто виноват. И одним из виновных он называет себя. Хотя вроде бы: «А если что не так – не наше дело: как говорится, Родина велела! Как славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом, солдатом».

На протяжении всего произведения автор пытается проанализировать: что бы он мог сделать иначе? И с глобальной точки зрения: чтобы препятствовать развитию всего того ужаса? И с личной морально-этической: чтобы не быть гадом в конкретной ситуации. И он не хочет

находить оправдания тому, что веди себя такие, как он, на определенной этапе иначе (смелее ли, дружнее ли, умнее ли), многое можно было бы изменить или, во всяком случае, остановить. И на бытовом уровне, в отдельных эпизодах, в которых герой повел себя неблагоприятно, совесть его грызет.

И что ж? Пахан согласен. Ведь я этим и отдаю сало; и признаю его высшую власть; и обнаруживаю сходство воззрений с ним – он бы тоже согнал слабейших. Он велит двум серым нейтралам уйти с нижних нар у окна, дать место нам. Они покорно уходят. Мы ложимся на лучшие места. Мы еще некоторое время переживаем свои потери (на моё галифе блатные не зарятся, это не их форма, но один из воров уже шупает шерстяные брюки на Валентине, ему нравятся). И лишь к вечеру доходит до нас укоряющий шёпот соседей: как могли мы просить защиты у блатарей, а двух *своих* загнать вместо себя под нары? И только тут прокалывает меня сознание моей подлости, и заливают краска (и ещё много лет буду краснеть, вспоминая). Серые арестанты на нижних нарах – это же братья мои, 58-1-б, это пленники. Давно ли я клялся, что на себя принимаю их судьбу? И вот уже сталкиваю под нары? Правда, и они не заступились за нас против блатарей – но почему им надо биться за наше сало, если мы сами не бьёмся? Достаточно жестоких боёв ещё в плену разуверили их в благородстве. Всё же они мне зла не сделали, а я им сделал. Вот так ударяемся, ударяемся боками и хрюкалками, чтобы хоть с годами стать людьми... Чтобы стать людьми...

Развитие поиска причин трагедии пронизывает эту книгу не просто как лейтмотив, а как самый настоящий элемент фабулы. Отдельные ветви этого поиска расходятся, сходятся, исчезают. Этот лабиринт дает понять: перед нами художественное произведение. Важно, что активный, не собирающийся сдаваться, главный персонаж не является обязательной чертой художественности, но для произведений, описывающих лагерную жизнь, столь характерны уныние и безжизненность, что такой герой становится лучом света в темном царстве и порождает огонь веры, надежды и... чего-то неправдоподобного. Конечно, все эти сотни свидетельств очевидцев, на которых построен АГ, являются основой, но вся конструкция произведения заставляет нас отнести его к художественно-документальной прозе. Более того, сравнивая АГ по формальным признакам с книгой «У войны не женское лицо» Алексиевич нельзя не отметить, что различных композиционных средств, свойственных фикшн-литературе, у Александра Исаевича больше.

«Стыдно писать о том, чего не было» (приписывается Толстому). И вроде то, о чем пишет Солженицын, реально было, однако художественная степень обработки столь значительна, что многие его единомышленники сразу или со временем, стали обвинять писателя в какой-то недостаточной правдивости. Конечно, Алексиевич писала/пишет о другом, но тем не менее ее более сдержанный стиль добавляет эффекта действительности. А ее учитель Алесь Адамович, даже в произведениях, по многим формальным признакам являющихся художественными, оставляет своих читателей седыми после прочтения его книг.

Варлам Шаламов считал, что Солженицын сидел не в тех лагерях, каких-то ненастоящих, отсюда недостаточный градус уныния и безнадёги в АГ. Фазиль Искандер говорил: «Кто не ломался, тех плохо ломали». Но оптимизм и вера в человека не позволяет Александру Исаевичу верить в это. Он пытается переубедить Шаламова, обращаясь к его опыту.

Шаламов говорит: духовно обеднены все, кто сидел в лагерях. А я как вспомню или как встречу бывшего эзка – так личность.

Шаламов и сам в другом месте пишет: ведь не стану же я доносить на других! ведь не стану же я бригадиром, чтобы заставлять работать других.

А отчего это, Варлам Тихонович? Почему это вы вдруг не станете стукачом или бригадиром, раз никто в лагере не может избежать этой наклонной горки растления? Раз правда и ложь – родные сёстры? Значит, за какой-то сук вы уцепились? В какой-то камень вы упнулись – и дальше не поползли? Может, злоба всё-таки – не самое долговечное чувство? Своей личностью и своими стихами не оперегаете ли вы собственную концепцию?

Сложно было многим коллегам Солженицына не завидовать его борцовским качествам. Людям часто сложно понять, как при одних и тех же затратах кому-то удается сделать что-то лучше, чем им. Вот и Солженицына многие не понимали. Может, здесь что-то природное. Может, особенным способом прошла закалка. Может, настройки души таким причудливым образом выстроились. «Человек все в состоянии понять – и как трепещет эфир, и что на солнце происходит; а как другой человек может иначе сморкаться, чем он сам сморкается, этого он понять не в состоянии», – говорил Базаров. А здесь речь – не о сморкании. Читая Шаламова и Адамовича, теряешь веру в человечество. А у Солженицына, наоборот, очень много мест, где люди предстают как создания, достойные своего Творца.

И это причудливое человеколюбие подкупало и подкупает читателей АГ. Удивительно: Солженицын не обеляет «своих» заключенных, часто он предъясвляет случаи безволия, трусости, отчаяния и прочих неблагоприятных черт. Но и после этого они остаются людьми. Эта манера Солженицына не могла не привести к тому, что он во многом монополизировал эту тему, что казалось многим другим авторам нечестным. Эстер Вергер – выдающаяся теннисистка-колясочница – тотально доминировала в своем виде спорта на протяжении десяти лет, выиграв 470 матчей подряд. Мне это всегда казалось страшно неправильным, потому что в мире инвалидов, где счастья значительно меньше, чем у здоровых людей, победы и, следовательно, радость от них, должны распределяться равнее. А тут – такая несправедливость. Вот и в случае с Солженицыным другие свидетели-хроникеры сталинских репрессий считали нечестным, что все внимание достается ему одному.

В результате Александру Исаевичу стали припоминать и откровенно незаслуженную Нобелевскую премию (он и не спорил), и жестокую манеру работы со своими «информаторами», и порой ядовитую манеру поведения. И дошло все до того, что Солженицына стали называть едва ли не «трупожором», наживающимся на горе по-настоящему пострадавших людей.

Но это несправедливо. Просто Солженицын – борец, который порой нарушает неписанные правила игры и не стесняется использовать предельно жесткие приёмы. Когда на определенном этапе развития общество нашло удобную конструкцию, сделав козлами отпущения считанное число вышестоящих, Александр Исаевич не мог с этим мириться. По всей видимости, с иронией он говорит: «Но признаем уже и тут: если у Сталина это всё не само получилось, а он это для нас разработал по пунктам, – он-таки был гений!» Солженицын считал, что необходимо наказывать, если не всех, то значительно большее число провинившихся в появлении и обслуживании людоедской репрессивной политики.

И вот в Западной Германии к 1966 году осуждено **восемьдесят шесть тысяч** преступных нацистов — и мы захлёбываемся, мы страниц газетных и радиочасов на это не жалеем, мы и после работы останемся на митинг и проголосуем: мало! И 86 тысяч — мало! и 20 лет судов — мало! продолжить!

А у нас осудили (по опубликованным данным) — около тридцати человек.

То, что за Одером, за Рейном — это нас печёт. А то, что в Подмоскowie и под Сочами за зелёными заборами, а то, что убийцы наших мужей и отцов ездят по нашим улицам и мы им дорогу уступаем — это нас не печёт, не трогает, это — «старое ворошить».

А между тем, если 86 тысяч западно-германских перевести на нас по пропорции, это было бы для нашей страны **четверть миллиона!**

Но и за четверть столетия мы никого их не нашли, мы никого их не вызвали в суд, мы боимся разбередить их раны. И как символ их всех живёт на улице Грановского 3 самодовольный, тупой, до сих пор ни в чём не убедившийся Молотов, весь пропитанный нашей кровью, и благородно переходит тротуар сесть в длинный широкий автомобиль.

Загадка, которую не нам, современникам, разгадать: для чего Германии дано наказать своих злодеев, а России — не дано? Что ж за гибельный будет путь у нас, если не дано нам очиститься от этой скверны, гниющей в нашем теле? Чему же сможет Россия научить мир?

В немецких судебных процессах то там, то сям, бывает дивное явление: подсудимый берётся за голову, отказывается от защиты и ни о чём не просит больше суд. Он говорит, что череда его преступлений, вызванная и проведенная перед ним вновь, наполняет его отвращением и он не хочет больше жить.

Вот высшее достижение суда: когда порок настолько осуждён, что от него отшатывается и преступник.

Страна, которая восемьдесят шесть тысяч раз с помоста судьи осудила порок (и бесповоротно осудила его в литературе и среди молодёжи) — год за годом, ступенька за ступенькой очищается от него.

А что делать нам?.. Когда-нибудь наши потомки назовут несколько наших поколений — поколениями слюнтяев: сперва мы покорно позволяли избивать нас миллионами, потом мы заботливо холили убийц в их благополучной старости.

Впрочем, Солженицын понимает сложность задачи о том, где провести черту: кого осудить, а кого — нет. Здесь у него нет противоречия, и понимая, что заявленным огромным цифрам пострадавших должно соответствовать сопоставимое число тем или иным образом находившихся на противоположной стороне, писатель осознает, что социальная амнистия необходима, дабы это не вылилось в очередной виток ненависти в обществе. В конце концов, для многих «Или нары, или Канары» и «Живым я не им, а вам буду полезнее». Порой, покачивая головой, надо перевернуть страницу.

Порой, но не всегда. И не рискует ли общество, стараясь не беречь раны, превратить самих себя в общество манкуртов и тем самым утратить собственную идентичность. Солженицын считает, что есть шанс на то, чтобы из этого ужасного опыта, наоборот, выйти просветленными и сильными. Одной из сквозных идей творчества Федора Михайловича Достоевского, Солженицына XIX века, является то, что стать лучше можно, лишь опустившись на самое дно. Александр Исаевич не призывал нас опуститься на дно, но он считает, что коли мы достигли дна, надо сильнее от него оттолкнуться, и к звездам.

Но общество решило по-своему, не послушало писателя. У «всех» были родственники, кто сидел, но и у «всех» были родственники, кто

сторожил. Лагерная тема за долгие годы обросла обоюдно острыми и обоюдно нелепыми мифами, а образ живого и противоречивого Солженицына трактуется по-разному в соответствии с духом момента. Персонаж фильма «Мама, не горюй!», браток из 90-х рассказывает о текучке своей деятельности: «Папа у них был такой норильский, так его строго в 24 часа депортировали, как писателя Солженицына, чтобы не обустроивал здесь все по-своему». Знаки былых времен остаются с нами, сильно искажаясь.

Забавно, но разбирая тему про «сучью войну», о которой немало написано и в АГ, автор статьи набрел на статью о Тольяттинской криминальной войне – крупнейшей в новейшей истории России криминальной войне. Девяностые годы – тоже неприглядная страница нашей истории, и большинство из нас вынуждено было приспособливаться к такой жизни. Со временем и общество – в целом, и отдельные люди – в частности, стали искать благовидные оправдания произошедшему, добавляя, что почти все главные действующие лица куда-то «улетели»: не то на Марс, не то на тот свет. Ты курил? – Нет. – А чего от тебя куревом несет? – Я рядом стоял, надышали.

Время лечит тем, что мы забываем и искажаем былое. Кроме того, дети нам в этом помогают. Современная, 1998 года рождения, певица Монеточка в своей песни «90» рассказывает о том, как ее лирической героине видится эпоха 90-х, воспринятая «из песен Кривостика» и из «рассказов деда и бати». Доведенные до абсурда, но отчасти правильные:

В девяностые убивали людей,
И все бегали абсолютно голые.
Электричества не было нигде,
Только драки за джинсы с кока-колою

перемежаются с явными искажениями символов времени:

Пиджаки земляничные нагладили

(в реальности – «малиновые» или просто «красные»). Да, может быть, и это пройдет. Но это «то, без чего нас невозможно представить, еще труднее – понять». В фильме «День радио» (время действия – вторая половина нулевых) заместитель начальника Генштаба попросил поставить в эфир блатную песню, которая являлась для станции абсолютным неформатом. Программный директор не смог отказать, хоть и опасался, что от хозяина радио впоследствии прилетит. Но все обернулось тем, что владельцу очень понравилось: «Вот теперь я понимаю, что вы имели в виду под словами “качественная отечественная музыка”. Думаю, что мы с вами на правильном пути».

Конечно, девяностые близки годам сталинских репрессий преимущественно серьезными социальными потрясениями и большими человеческими жертвами. Но еще они близки и тем, что испытывали общество и многих его представителей на духовную и душевную стойкость. И социум, осознавая, что прошел эту проверку не вполне достойно, ищет способы себя обелить: перед самим собой, перед будущими поколениями, перед Богом. У общества значительно меньше возможностей на искупление, чем у отдельного человека, а посему более надежными инструментами становятся ложь, забвение и молчание.

Солженицын не хотел молчать, но подспудно понимал, что общество не сможет посмотреть на себя в зеркало, пока время не зарубцует раны на лице. Но одновременно писатель считал, что социум может и должен быть сильнее. Как и человек.

Несмотря на страшный климат, описанный в книге, она полна иррационального оптимизма в том, что человек способен не гнаться даже в самых ужасающих условиях. Произведение, от которого ждешь беспроектного удушливого уныния, полно несломленных героев, готовых не сдаваться даже будучи на краю пропасти. Удивительна сцена про борьбу воздушных змеев.

После этой неудачи стали надувать шары дымом. Эти шары при попутном ветре неплохо летели, показывая поселку крупные надписи:

- Спасите женщин и стариков от избиения!
- Мы требуем приезда члена Президиума ЦК!

Охрана стала расстреливать эти шары.

Тут пришли в Техотдел эки-чеченцы и предложили делать змеев (они на змеев мастера). Этих змеев стали удачно клеить и далеко выбрасывать над поселком. На корпусе змея было ударное приспособление. Когда змей занимал удобную позицию, оно рассыпало привязанную тут же пачку листовок. Запускающие сидели на крыше барака и смотрели, что будет дальше. Если листовки падали близко от лагеря, то собирать их бежали пешие надзиратели, если далеко, то мчались мотоциклисты и конники. Во всех случаях старались не дать свободным гражданам прочесть независимую правду. (Листовки кончались просьбой к каждому нашедшему кенгирцу – доставить её в ЦК.)

По змеям тоже стреляли, но они не были так уязвимы к пробоинам, как шары. Нашел скоро противник, что ему дешевле, чем гонять толпу надзирателей, запустить контрзмеев, ловить и перепутывать.

Война воздушных змеев во второй половине XX века! – и всё против слова правды...

Иногда Александр Исаевич раздражает своим нежеланием понять сломившихся. Что ж, он строг к остальным так же, как строг к себе. Однако именно благодаря этой жесткости Солженицын превращает атмосферу ужасного и депрессивного мира Архипелага ГУЛАГа в удивительно мотивирующее и вдохновляющее полотно. Человек остается человеком.